
Бранка ТАКАХАШИ

ЧУЖОЙ В ДОМЕ

Рассказ

Если бы повествователем был ты, все бы выглядело несколько иначе. Поэтому я подчеркиваю: это *мой* рассказ.

Ты, наверное, то и дело будешь думать про себя: «Еще чего!», может, даже захочешь сделать замечание-другое. Сколько раз ты восклицал: «Почему твоя версия настолько отличается?!»

Но отличается ли в самом деле? И от чего отличается: от того, что действительно произошло, или от твоего видения произошедшего? Я думаю, что дело, скорее всего, в том, с какой стороны смотреть, ну и еще в легком переборе. Что смешного? «Легкий перебор»? Ну, должна же я кое-где немножко добавить и преувеличить! Я же женщина, да еще и писатель. Что люди скорее станут слушать: *скучную* правду или *слегка драматизированную* правду? Правильно — ту вторую, ту, что производит впечатление и остается в воспоминаниях. Значит, не вру, не обманываю, а только, как сказали бы русские, *zgušćaju kraski*.

В субботу утром, проснувшись, я какое-то время нежилась в постели. То, о чем я раньше мечтала с понедельника по пятницу — на выходных спать до полудня, — теперь уже не приносит мне удовольствия. Совершенно бодрая, я убивала время до половины восьмого и потом выскользнула из-под одеяла медленно, чтобы тебя не разбудить.

Я наслаждалась тишиной. В ту минуту, когда ты, дорогой мой, встаешь, в гостиную — мое святилище! — врываются ведущие развлекательных передач, спортивные комментаторы, синоптики и комедианты, все они, на мой вкус, слишком экзальтированные. Поэтому пока ты спишь, я — *трава, глубоководная рыба, кратер на Луне*. Лишь тихое постукивание механизма в настенных часах напоминает мне, что я живое существо, в котором тоже бьется похожий механизм. Доносящиеся с улицы звуки — лай собаки, проехавший возле дома грузовик, вытряхивание постельного белья — не мешают мне. Они достаточно далеко и не пробивают тонкую мембрану моей защищенности.

Я медленно скользила взглядом по парку и близлежащим домам. Люди выгуливали собак, две мамы толкали детские коляски. Только изредка проезжали автомобили. Город дышал в расслабленном субботнем ритме. Правда, не все расслаблялись: идеальные домохозяйки уже развешивали белье. Господи, во сколько же они тогда включали стиральные машины?!

В одном из окон дома напротив, по другую сторону парка, я заметила странные движения. Что-то четырехугольное белое шло вверх-вниз, вправо-влево по стеклу. Словно кто-то играл в какой-нибудь допотопный «Тетрис». Что же это может быть?.. —

Бранка Такахаши родилась в 1970 году в бывшей Югославии. Жила в Минске и Владивостоке, с 2009 года в Японии. Пишет прозу и стихи на сербском, русском и японском языках и переводит с них.

думала я. Может, кто-то посылает сигнал SOS? Мой еще не совсем проснувшийся мозг с опозданием в несколько секунд сообразил: этот кто-то моет окно! В субботу, в полвосьмого утра. Снимаю шляпу! Мои глаза навели резкость на картину в нескольких сантиметрах от моего носа: *а это окно – когда его мыли в последний раз?*.. Пока я ругала себя за то, что не занимаюсь домом, как те женщины, ты подошел сзади, обнял меня за талию и мягко укусил в шею.

– Доброе утро. Чего интересного в парке?

– В парке ничего особенного, но вон в том доме две суперхозяйки уже постирали и развесили белье. Пытаюсь представить себе их лица. А так, пока ты спишь, я принимаю солнечную ванну и стимулирую выработку серотонина.

– Фу, я испугался, что ты скажешь, что *питаешься солнцем!*

Я люблю тебя за многое, и особенно за то, что ты всегда с утра в настроении и что тебе так легко удается развеселить меня.

– Не волнуйся, я не такая эксцентричная, как та дама¹.

Потом я ушла на кухню сварить нам кофе. В ту же секунду, как твои руки освободились, в наш дом ворвались Экичи Язава² в рекламе новой модели «ниссан», комедиянтка, чьи главные козыри – лишние килограммы и уродливость, и политик, который, обливаясь слезами, на пресс-конференции признавал свою вину в каком-то пустяке. Мы пили кофе, когда ты спросил:

– Что тебе подарить на день рождения? Прости, на этот раз ничего не приходит в голову.

– Я тебя прекрасно понимаю, у меня самой нет идей. Ты потом тоже подумай и скажи мне. А я... я бы хотела пойти с тобой в театр. Да, пусть это будет подарок – мне и нам обоим: совместный поход в театр.

Ты собирался отпить глоток кофе; чашечка остановилась у твоего подбородка, и настала короткая пауза. «Ага, не хочет!» – подумала было я в ожидании, что ты начнешь увиливать. Ты прочистил горло и спросил: «А что смотрим?» Я знаю это твое сухое покашливание: когда тебе что-то не нравится, но не можешь избежать его, ты выкашливаешь эту несуществующую помеху в горле. Ты не любишь театр потому, что он – преувеличенная версия жизни, и ты бы дал все, чтобы не идти, но не можешь отказать после того, как так галантно предложил мне выбрать подарок ко дню рождения. Пьесы и кино, у которых нет ничего общего с реальной жизнью, у меня не вызывают ничего, кроме скуки и усмешки, – и ты это знаешь, поэтому уже годами не зовешь с собой в кино; я этому научилась у тебя и уже долго не таскаю тебя по театрам. В начале знакомства я пыталась перевоспитать твой художественный вкус, заставить тебя полюбить то, что люблю я, но мне удалось только вызвать досаду и у тебя, и у себя самой. Прости меня, пожалуйста! С тех пор как я осознала тщетность этой затеи, мы оба наслаждаемся тем, что в нашем вкусе, и не слушаем ворчание с соседнего кресла. Однако на этот раз мне очень-очень хотелось посмотреть один спектакль именно с тобой.

– Я знаю, что ты не любишь театр, но по поводу этой пьесы, скорее всего – нет! не «скорее всего», а на все сто! – у нас будет одинаковое мнение.

– Мне не верится, что мы с тобой можем одинаково смотреть на искусство, но не будем опять об этом. Давай пойдем. Если это то, что ты желаешь в качестве подарка,

¹ Жена бывшего японского премьер-министра Хатоямы рассказывала, как они с мужем «питаются солнцем» и таким образом заряжаются энергией. Общественность долго над ними подшучивала (прим. авт.).

² Экичи Язава – популярный певец, «японский Мик Джаггер», рок-музыкант с сорокалетним стажем (прим. авт.).

я куплю нам билеты. А потом поведу тебя в один хороший ресторанчик, который я недавно для себя открыл.

Чем больше я об этом думала, тем все большую уверенность я чувствовала: насколько бы наши вкусы и ожидания от искусства ни разнились, на этот раз мы будем согласны по всем пунктам.

В телевизионной передаче толстая девушка, которая на жизнь зарабатывает способностью запихнуть в желудок невероятное количество пищи, собиралась в течение двадцати минут съесть гору мяса, стог спагетти, кастрюлю карри с рисом и торт целиком — в общем, три килограмма еды. Короткий взгляд на нее: рот набит мясом, непережеванное, оно скользит вниз по ее пищеводу, пока она подносит очередную ложку риса с карри — и я ощущаю приступ тошноты. Я встала и пошла искать «Рассказ о том, как создаются рассказы» Бориса Пильняка, который лег в основу спектакля.

В тот день мы нарядились и пошли пораньше, чтобы немного прогуляться. Правда, мои туфли на каблуках не предназначены для длительной ходьбы, но мне ведь есть на кого опереться, да? Когда ты взял мою руку, я подумала, как непринужденно ты теперь это делаешь и была довольна своей дрессурой.

Ты взял нам отличные места — спасибо, дорогой! Я ощущала трепет публики на низких частотах и была счастлива. Люблю этот тяжелый воздух театра, более густой и торжественный, чем в кинозале. Аудитория дышит по-другому в ожидании встречи с высоким искусством. Даже если бы продавали попкорн, его бы здесь никто не ел. Я вспомнила ту прожорливую девушку и прямо задрожала от брезгливости.

Как я уже говорила: я не люблю это произведение Пильняка. И когда я его читала первый раз, в России, много лет назад, и несколько лет спустя, и на днях вновь, перед спектаклем — я каждый раз закрывала книгу с каким-то странным зудом. И это чуть ли не его самое известное произведение! Никак не пойму, в чем дело; его известность была такова, что эта повесть *по блату* прорвалась в первый ряд — только так могу объяснить ее популярность. Поэтому мне хотелось, чтобы и ты познакомился. Не зная лишней информации об авторе, ты сможешь объективно судить.

Жилой дом во Владивостоке, двадцатые годы прошлого века. Молодая девушка Соня Гнедых идет мимо дверей, за которыми живет японец Тагаки, слышит как он читает стихотворение на русском языке — мешая гласные «р» и «л», которые японцы не различают, — а потом поет какую-то русскую песню. Соня не выдерживает, начинает хохотать; он это слышит, открывает дверь и говорит: «Извините, невежливо приглашать мадемуазерь. Разрешите мне визитировать вас».

Этот любитель русской поэзии — офицер генерального штаба императорской оккупационной японской армии. Все, что он делает, вызывает недоумение остальных жильцов: два раза в день принимает ванну, а отправляясь спать надевает пижаму. Называют его не иначе как «макака», хотя у него прекрасные манеры: в отличие от прапорщика Иванцова, который то и дело лезет целоваться, Тагаки Соню приглашает в театр, да еще в первый ряд, а когда приходит в гости, обязательно дарит шикарные конфеты.

Соня окончила гимназию, чтобы стать учительницей, пока не придет жених, и была она такою девушкой, каких тысячи было в старой России. Она знала Пушкина и Чехова не более того, что преподают в школе и никогда не задумывалась о том, как люди все меряют на свой аршин и что для них «глупо» все то, что выше их понимания.

Однажды вечером Тагаки читает стихи неизвестных Соне Брюсова и Бунина; он немного задержался в ее комнате. Внезапно его лицо становится лиловым, а глаза наливаются кровью. Он сразу же выходит из комнаты, а она, хотя девушка и неопытная, понимает, что в нем вспыхнула страсть. Она плачет в подушку — настолько ей чужд и неприятен этот человек другой расы.

Однако, понемногу Соня начинает испытывать взаимность к Тагаки; несмотря на то, что офицерам императорской армии Японии запрещено жениться на иностранках, однажды он делает ей предложение – в парадной форме и в белых перчатках, он, в присутствии хозяев квартиры, просит ее руки по европейским правилам.

Первый акт закончился с Тагаки, преклонившим колено.

Мы вышли размять ноги и, стоя, пили кофе в фойе. Рядом с нами разговаривали молодой человек и девушка; мы услышали, как он спрашивает:

– Когда был написан этот рассказ?

– В тридцатые годы двадцатого века, после того, как Пильняк вернулся из путешествия по Японии, – ответила его спутница.

– Нет, ты посмотри только, как они все называют его макакой! Забывают, что это у них руки длинные, как у обезьян.

Девушка рассмеялась. Мы с тобой переглянулись и еле выдержали, чтобы не разразиться хохотом. Я стояла за спиной молодой пары, так что они не знали, что одна длиннорукая белая женщина слышит их разговор.

– А то явление, когда он читает стихи и ни с того ни с сего начинает бороться со страстью, аж глаза наливаются кровью, – это что? Ты таких у нас в Японии видела, а? Эти русские думают, что мы и физиологически другие, что ли?

Девушка опять смеется и говорит:

– Ну и ну, одни замечания! Рассказ ведь написан почти сто лет назад, неудивительно, что мы имели друг о друге искаженные представления.

Я смотрела на тебя и могла биться об заклад, что и ты так же считаешь, но меня больше интересовало твое мнение по другому поводу, а для этой темы еще было рано, – я готовилась подробно обсудить ее за ужином. Раздался звонок к началу второго акта, и мы вернулись на свои места.

Соня одна приплывает в порт Цуруга, и полиция ее досконально допрашивает. В этом городке, который и городом-то не назовешь, нет ни зданий, ни людей, ни еды в европейском стиле. Вокруг – грязь и вонь от кальмаров, которые разложены для просушивания на солнце.

По инструкции Тагаки Соня на ночном поезде добирается до Осаки. Поняв, что все эти люди, мужчины и женщины, перед сном будут переодеваться тут же, не стесняясь показать непокрытую плоть, она испытывает еще больший шок и всю ночь не может уснуть. На станции в Осаке ее встречает брат Тагаки и отвешивает ей глубокий поклон. Соня ожидает, что он подаст ей руку, и какое-то время стоит в растерянности. Когда после обеда он проводит ее до уборной, она дает ему знак, чтобы он отошел, но он почему-то продолжает стоять. Соня не знает, что тот ее жест в Японии означает «иди сюда».

Она вздыхает с облегчением, когда воссоединяется с Тагаки. Его уволили из армии и сослали в деревню на два года. Там, в прибрежной деревушке, в скромном доике, они начинают спокойную, размеренную жизнь вдвоем. Соня со временем привыкает к кимоно, пояс которого не дает дышать, и к деревянной обуви гета, чьи ремешки между пальцами оставляют мозоли. Она учится готовить японские блюда и немного говорит по-японски: утром говорит «охайо гоэзаимас», перед сном – «оясуми насай».

Тагаки заказывает множество книг на японском, русском и английском языках, она тоже иногда читает русских авторов. Днем он читает и что-то пишет, а все ночи напролет посвящает страсти, которая оставляет его жену без сил.

Когда кончаются два года ссылки, жизнь Сони меняется в корне: вдруг все начинают обращаться к ней с подчеркнутым уважением, а хозяйством занимаются лакеи. Оказывается, ее муж стал знаменитым писателем. Соня его спрашивает, что за

роман он написал, но не получает конкретного ответа; решая, что в любом случае не поймет, она не настаивает. Однако она узнает, о чем роман. Узнает — от японского журналиста, говорящего по-русски, — что автор шпионил за своей западной женой и записывал все, даже то, как она содрогалась от страсти или от расстройства желудка. В Японии люди не стесняются естества тела.

Соня в шоке. Сначала безмолвно стоит, а потом — из второго ряда, где мы с тобой сидели, было отлично видно: из ее голубых глаз текут крупные слезы. Без слов, без всхлипов, только беспрестанно текущими слезами русская актриса успешно вызывает сочувствие публики к несчастной Соне. Даже я, несмотря на критическое отношение к этому рассказу, не могу не жалеть бедную девушку. Я не думаю, что у нее произошло что-то страшное. То, что муж подробно писал о ней, у меня не вызывает осуждения. Она что думает — что читатели сильно удивятся тому, что и у нее иногда бывает понос и что она тоже проводит страстные ночи в объятиях мужа?! Однако я понимаю, что ее страдание велико. Человек же не страдает меньше оттого, что его мука кажется другим незначительной.

Соня стоит и плачет. Ее платье развеивается на ветру. Под скалой, на которой стоят они с журналистом, бушует море, шум становится все сильнее, словно приближается цунами. Для этой женщины наступил конец света...

И сцену, и зал накрывает *звуковое цунами*. На пике устрашающего грохота звук внезапно прерывается, будто лопнула струна гитары, и в следующий момент Соня энергичным шагом покидает сцену.

В течение нескольких секунд, пока публика сидит в полной темноте, сцена трансформируется, скалу над морем заменяет домик, в котором жили Соня и Тагаки. Дом затихший, пустой. Из динамика раздается голос повествователя:

«Не мое дело — судить. Мое дело — размышлять обо всем, и, в частности, о том, как создаются рассказы. А Соня — Соня для описания своей жизни с мужем нашла мощные и в то же время простые, ясные слова, так же как она нашла в себе силу действовать просто и ясно. Она бросила жизнь жены известного писателя и вернулась во Владивосток к разбитому корыту учителей начальной школы».

Свет постепенно гас, занавес медленно опускался. Затем были включены прожекторы, осветившие зал, и начались аплодисменты. Я смотрела на людей. Ты без особого выражения на лице хлопал — ни вяло, ни слишком активно. Реакции других были *от и до*: одни неистово рукоплескали актерам, тем временем вновь вернувшимся на сцену, другие это делали умеренно, а некоторые и вовсе лишь пару раз ударили в ладони и начали собирать вещи. Мы с тобой остались до второго поклона актеров и потом влились в реку, которая медленно текла к выходу. Проход был узок, пришлось двигаться очень медленно, но зато можно было услышать впечатления других. Передо мной шли две девушки и разговаривали о других произведениях Пильняка, произнося некоторые слова по-русски. Скорее всего, это были студентки русского отделения филологического факультета. Когда мы вышли из зала в фойе, они направились в другую сторону, и я только успела уловить удаляющееся: «...же должен был критиковать Японию». «Правильно, девушки, очевидно, разбираются», — думала я и двигалась в другом направлении, увлекаемая твоей рукой. Перед следующим сужением — выходом из здания — снова пришлось замедлить движение. Я услышала, как три женщины в возрасте комментируют:

— За неполные сто лет Япония так изменилась! Даже современная японская молодежь была бы удивлена такой провинцией, обычаями и манерами полицейских, а что и говорить о бедной иностранке, которая и языка-то не знает...

Ее подруги разделяли ее мнение:

– Да, действительно...

– Я бы тоже не хотела, чтобы муж сделал мне такое. Каждый человек имеет потребность в личном пространстве. Если бы мой муж объявил публично то, что я считала только моей территорией, я бы больше не могла жить с этим человеком, – сказала другая госпожа.

Третья дама задумчиво кивала головой, и потом сказала:

– Все правильно, но... Мне кажется, что здесь не хватает чего-то важного. Пьеса – какая-то... однобокая. Ну, может, рассказ, по которому она поставлена, такой... не совсем удачный. Человек может одобрять или не одобрять «я-роман», который в те годы писали многие, но это факт, что жанр пользовался большой популярностью. Тагаки из этого рассказа напоминает Дзюн-Итиро Танидзакэ – и именем, и литературным приемом, да? Но! Знать о каком-то произведении из чужого пересказа и читать само произведение – совсем разные вещи. Если хотите мое мнение, то я считаю, что гораздо важнее, *как* что-то написано, чем то, *о чем* писано.

Ты посмотрел на меня так, что я поняла: ты тоже слушаешь их разговор. Я не могла дожидаться, когда мы останемся с тобой вдвоем. Последнее, что я услышала, выходя из театра, был комментарий молодого мужчины – того, что стоял рядом с нами, когда мы пили кофе:

– Елы-палы, какая истеричка! Слышь, давай не будем больше ходить на русскую драму...

Мы с тобой рассмеялись. Когда вокруг больше никого из зрителей не осталось, я тебя спросила о твоих впечатлениях. Ты симитировал того парня:

– Елы-палы, какая истеричная девушка! Пообещай, пожалуйста, что на следующий день рождения не пожелаешь опять какую-нибудь русскую драму.

– Расслабься, больше не буду таскать тебя в театр. А на этот раз получилось, как я сказала: у нас одинаковые впечатления.

Ты поднял брови и изумленно посмотрел на меня. Твои глаза говорили: «Это какой-то подвох».

– Одинаковые впечатления?! У тебя, любящей драматические события и турбулентные эмоции, такие же впечатления, как у меня?!

– Да! Поэтому я тебя и взяла с собой. Ну, с технической точки зрения это ты меня взял. *Хвала тебе, муж мой и господин мой!*.. Э-э-э... что я хотела? А, да! Суть именно в этом: истеричная женщина. Постой, куда это мы идем?

Я оглянулась: район мне был незнаком.

– Ресторан где-то рядом?

– Ага, сразу за углом. Но еще рано, я забронировал стол на семь часов. Давай еще погуляем.

Да, для ужина было рановато – не было и шести часов, совсем еще светло.

– Но ты же на каблуках... Можешь ходить?

– Конечно. Я же опираюсь на мужа, лучшего в мире! – мурлыкала я и еще больше наваливалась на тебя. Сквозь голову пронеслось: «Что бы на это сказала Норико Ибараги?»³

– Вот что я хочу сказать: эта повесть вышла историей об одной истеричной женщине, «не обремененной» культурой и знаниями, тогда как намерение Пильняка было, как мне кажется, другое, а именно: показать *настоящую* драму, драму о том, насколько трудно писать о близком человеке, насколько это рискованная затея. Эта тема

³ Норико Ибараги (1926–2006) – японская поэтесса; здесь: ассоциация с ее стихотворением «Я больше не опираюсь» (*прим. авт.*).

волнует каждого писателя. Поэтому если ты взялся живописать, тогда либо покажи решение проблемы, либо, если не получается — а я склоняюсь к тому, что это *миссия невыполнима*, — хотя бы изысканно, *тоненькой кисточкой*, обрисуй драму под названием «я попытался о близком человеке написать так, чтобы его не ранить, но, как можно было ожидать, не удалось» — да так, что читатель, если это книга, или зритель, если это пьеса или кино, испытает такое потрясение, будто в нем бьет колокол в две тонны. А так — не имеет смысла вообще начинать, — это я произнесла уже на последних миллилитрах воздуха со дна легких и потом вздохнула глубоко, как утопающий, который наконец-то добрался до поверхности воды. Боже, как мне было хорошо! Я годами носила в себе эти мысли, и мне никак не удавалось ни вербализовать, ни забыть их. Наверное, я неумеренно жестикулировала и слишком громко говорила: некоторые прохожие бросали на нас удивленные взгляды.

Довольная, я еще раз глубоко вдохнула, но тут же вспомнила, что забыла одну важную вещь. *Ой, бедненький ты мой, как тебе нелегко!*

— Если бы читателю был известен какой-нибудь эпизод из романа Тагаки, то он мог бы сказать: «Ишь, какой негодяй этот японец! Разве можно так писать о любящей его жене!» А так у автора главный козырь — одна мизерная деталь, одна черта характера героини — истеричность.

В ответ ты поднял одну бровь на манер Кларка Гейбла и сказал надменно:

— Вот видишь, как тебе везет со мной? Как бы ты ни прошла по мне, я не обижаюсь и не дуюсь. Скажи «спасибо»!

Мой маленький моноспектакль вновь привлек внимание прохожих: я остановилась, обеими руками сжала твоё лицо и впиалась взглядом в твои глаза, давая возможность твоему *детектору лжи* убедиться в моей искренности, сказала: «Я тебе благодарна, отныне и во веки веков», а потом начала хихикать. В тот момент я подумала, насколько правы вы, японцы, когда утверждаете, что разговор о глубоких чувствах скрывает естественность. И в самом деле — откуда-то берется какое-то непонятное стеснение... Но несмотря на то, что я стала изображать комедию, ты знаешь, что я тебе благодарна. Потому что ты лучший в мире. Честное слово — лучший.

В моем прошлом романе муж героини изменяет ей, пока — для нее — находится на рыбалке. Из наших знакомых никто не преминал, подмигивая и покашливая, поднять тему рыбалки в моем присутствии. А ты вел себя великолепно! Я так гордилась своим взрослым, уравновешенным мужем.

— Да такие вещи меня совершенно не волнуют. Я же знаю, что ты через этого бабника не обо мне говоришь, а что подумают другие — вот это мне по фигу. Близкие знают, что я не рыбаку и не «рыбачу», а мнение незнакомых меня не интересует. Другое дело, если бы ты что-нибудь действительно мое, что-нибудь, чем я не хотел бы делиться с широкой публикой, выставила напоказ как-то... ну, злоупотребив... или... ну, ты понимаешь, что я хочу сказать? А подожди секунду... где мы?

Ты остановился и огляделся кругом.

«Уф, мы заблудились», — подумала было я. В общем-то, нечего удивляться: я как начну рассуждать на интересующую меня тему, теряю представление о времени и пространстве. Я до такой степени окунулась в литературную критику, что даже не замечала боли в ступнях. Хотя я и повисла у тебя на руке, но ходили мы долго.

— А, вот где мы! Все в порядке, я вспомнил. Здесь поворачиваем направо, и та улочка ведет нас прямо к ресторану. На чем мы остановились? А, на том, как трудно писать о близких людях.

Я еще больше повисла на тебе с благодарностью за то, что ты не против выслушать мысль, которая мне важна.

– Понимаешь, каждый писатель, кто раньше, кто позже, кто больше, кто меньше, пишет о людях из своего окружения. Вот, например, Толстой! Практически все прототипы его героев – реальные люди. И что – Толстой от этого меньше... *Толстой?*! И еще: мало кого интересуют любящая мать, преданный отец и целомудренная сестра. Вот что об этом сказал Андре Жид: «С хорошими чувствами делают дурную литературу». *Браво, маэстро!* А Пильняк, задавая вопрос «Как создаются рассказы?», ведет себя словно взрослый, которого ребенок спросил «Откуда берутся дети?» – *капустя, аисты...* Пильняк отлично знает, как создаются рассказы! Литература же вдоль и поперек грешное предприятие. Даже мотив занятия литературой – грешен. Нет, ты только вдумайся – разве не грешен тот, кто убежден, что без его мыслей и чувств этот мир ущербен?!

Ты впился в мои глаза.

– Ты это серьезно? Точно снег пойдет!

Да, ты прав – если иметь в виду, кто говорит, это было скромное, даже самокритичное заявление. Но поверь, даже нарциссы страдают иногда сомнениями в своих способностях и в результатах своего труда. Только не говорят об этом. Отчасти потому, что гордость не позволяет им показаться слабыми, но также потому, что не хотят волновать своих близких. Но потом, когда у нарцисса накопится слишком много всякого хлама, он начинает как заведенный... подожди, эта фраза не имеет смысла на японском языке... Блин... Знаешь, если кто-то тараторит без паузы, в Сербии про такого скажут «говорит как заведенный» – в смысле как механизм, заведенный на ключик. В японском языке тоже какая-нибудь идиома должна быть... но ты же понимаешь, что я хочу сказать, тебя мой японский, каким бы корявым он ни был, не смущает!

В тот день получилось своеобразное – этапное – подведение итогов. Мне исполнилось сорок два года, и я ощущала, как слабеет сила тяготения предыдущего десятилетия. *Тридцать с чем-то* пока еще ассоциируется с молодостью, и с жизнью еще можно вести переговоры о начинаниях и новых предприятиях. Но это длится, сколько длится, торг не имеет места. Тот возраст остался позади. Как проносящиеся мигмом пейзажи, которые видишь из скоростного поезда. Я делаю вид, что меня это не обременяет, тогда как на самом деле – не все равно. Мол, *другие стареют, а я созреваю*. Мол, *хорошая генетика и молодой муж*. И все хорошо, пока удастся всех вас обмануть, пока от ваших глаз успешно прячу беспокойство, пока его пульсация не видна на поверхности.

Но тело стареет, и похоже, что моя большая мечта останется так и неосуществленной. Твоя любовь мне очень важна, но мне никто никогда не скажет «мама», и это не возместит любовь всех мужчин мира. Да и твою любовь... Ты знаешь, я многое видела и много книг прочла, чтобы спокойно воспринимать ее как что-то, что само собой разумеется и что вечно будет со мной. Может – будет, а может, ты однажды внезапно – или медленно, незаметно, что в конечном итоге не меняет сути, – соберешь свою любовь и уйдешь куда-то с ней. Се ля ви... это лотерея, в которой каждый день тянем новый билет. А там – как получится. Вдобавок ко всему разница в возрасте у нас не дает повода для оптимизма. Я никогда не забуду первой встречи с тобой матерью.

С неестественно прямой спиной она сидела на краешке дивана, словно в любой момент могла рвануть вон из комнаты.

– Вы, оказывается, старше нашего сына... – сказала она.

– Да, *де...* девять лет, – споткнулась я о капризное «девять». В словосочетании «девять лет» оно произносится как «ку» или «кю»? О, господи, что за язык! *Разве нельзя одни и те же цифры произносить всегда одинаково?*! Я чувствовала, как лицо у меня

пылает, уверена, что твоя мама никогда не одобрит наш союз: я же старше ее сына да еще коряво говорю по-японски... Она подняла бровь — так же, как ты это делаешь — и повторила: «Девять лет?!», а вопросительный и восклицательный знак зазвучали, словно полицейский свисток. Но не буду сейчас ворошить воспоминания той поры, что было — то было...

И с размышлениями об этом рассказе Пильняка тоже можно было закругляться. Мне наконец-то удалось сложить свои думы в предложения и хотелось как можно скорее поделиться с тобой, поэтому я... *как заведенная* — нет, по-другому не скажешь — говорила, жадно глотая воздух. Ты иногда говоришь: «Женщины в целом более болтливые создания, но вы, сербки, в этом деле преуспеваете. Это оттого, что вы крупнее японок и объем легких у вас больше, что ли?»

Неужели я тебя утомляю?..

— Я признаю грешность литературы, но не думай, что собираюсь бросать писать! — сказала я на миг раньше того, как к нам обратился тот мужчина.

Среднего возраста, довольно грузный, своеобразно одетый, со шляпой — да не какой-нибудь, а цилиндром! — на голове, он подошел к нам и сказал, обращаясь именно ко мне:

— Мадам, я вижу по вашим глазам, что вы большая любительница киноискусства!

Ты сделал шаг назад и с подозрением спросил:

— Кино? А где его показывают?

Мужчина улыбнулся, дал нам рукой знак следовать за ним и неожиданно ловко для такого полного человека повернул за угол. На старомодной вывеске зажигались и гасли грушевидные лампочки. В улочке ощущалась эра до светодиодов. Ты беспокойно обернулся, а потом шепнул мне:

— Слушай, с этим местом что-то не так. Я был здесь на прошлой неделе и не видел ни этого, ни какого-нибудь другого кинотеатра.

— Ты же приходил с другой целью и просто-напросто не обратил внимания.

Ты всегда утверждаешь, что мир полон необъяснимых феноменов, тогда как я считаю, что всему, даже тому, что на первый взгляд кажется абсолютно непонятным, можно найти логическое объяснение. Уж точно не думаю, что кинотеатр *пророс* ниоткуда; я игриво сказала:

— Вот тебе встреча с твоим любимым необыкновенным и мистическим!

Ты явно был не в восторге. Правда, мне тоже хватило спектакля в театре, да и уже немного хотелось есть, так что я стала обдумывать, как вежливо отказать мужику в цилиндре. Видимо, он это почувал.

— Это произведение привлекает внимание огромного количества зрителей, мадам. Ваш муж будет смотреть его с особым интересом!

Для произведения, привлекающего внимание огромного количества зрителей, на входе не было ни одного человека. Я уже собралась было тянуть тебя назад на улицу, с которой мы пришли, когда увидела плакат. В темном космосе — одна планета, на ней две тени, держась за руки, идут к Солнцу. Их очертания не совсем ясны, но похоже, это мужчина и женщина, хотя их силуэты отдаленно напоминают инопланетян. Название фильма — «Чужой в доме».

У меня екнуло в животе. Таково было название моего романа, который вот-вот пойдет в печать. Ты об этом не знаешь — вернее, знаешь, что у меня скоро выйдет книга, но не знаешь названия. Я сама пока не решила, оставлять ли так или менять, мы с редактором пока думаем над этим. Про себя я сказала: «Есть же тезки и однофамильцы, почему бы книгам и фильмам не иметь одинаковые названия?» Я вижу, что тебе

не хочется смотреть это кино, но я уже заинтересовалась. Ладно название, но если совпадения окажутся и в содержании, то мой роман, который появится позже, будут считать плагиатом.

Тебе неохота, но ты не можешь отказать имениннице.

— Ну, давай... посмотрим и кино.

Когда мы вошли в зал, я поняла, почему никого не было у входа: все зрители уже сидели. После того как мы с тобой заняли два последних свободных места, толстый в цилиндре крикнул «Поехали!» будке с оператором, и со стороны полотна послышалось многоголосие непринужденного разговора. Затем — серия щелчков затвора фотоаппарата.

Немного погодя на полотне появилась первая фотография. Два японца, одна японка и один белый мужчина стоят с бокалами в руках и улыбаются. На стене за ними висят фотографии.

О?!

Щелк. Японка с предыдущего снимка теперь видна сзади; через плечо она смотрит на другого иностранца — это же наш друг Боба, конечно! — наливающего троим японским мужчинам какую-то прозрачную жидкость — ракию, конечно! — в маленькие рюмки. Если внимательно посмотреть, можно заметить, что все трое румяны и блаженны. *Боже мой, это же верная экранизация того дня...*

И одновременно первая сцена моего романа!

У меня по всему телу побежали мурашки.

Щелк. Одна японка (я ее не знаю) и одна сербка (моя Елэна) стоят перед большим черно-белым портретом Саши Городнего, разговаривают, показывая что-то на фотографии. *Щелк.* На голову выше всех, красивый молодой японец, один, смотрит фотографии. *Щелк.* Молодой красавец замечает, что его фотографируют. *Щелк.* Молодой красавец опускает глаза. *Щелк, щелк, щелк.* Цепочка фотографий с того места превращается в движущиеся картинки.

Фотографированный больше всех молодой красавчик — спустя девять лет он еще более привлекателен — сидит справа и пристально на меня смотрит. Его взгляд говорит: «Что же это такое?! срочно объясни!» А у меня нет ответа — никакого разумное объяснение не приходит в голову. Спасение приходит от повествователя: он подробно передает и объясняет даже то, что понятно каждому, у кого есть глаза и уши.

Токио, Гинза. Картинная галерея на последнем, пятом этаже дома без лифта. Владелец — Масами Йошиока, тот мужчина в очках, — галерею назвал «Steps» из-за бесконечных ступенек, которые приходится преодолеть, чтобы попасть на выставку. То, что сейчас происходит, это открытие фотовыставки художницы из Сербии. Она отсюда уйдет с охапкой цветов, множеством комплиментов и этим молодым красавцем.

— Везет же некоторым! — послышался молодой женский голос. За ним еще один.

— Я бы тоже этого перца взяла домой! — Затем хохот в той части зала. Ты сделал лицо «еще чего», но я бы не сказала, что тебе неприятно.

Три месяца спустя они живут вместе. Он предлагает сразу пойти в загс, но она знает, что в двадцатичетырехлетнем парне говорит тестостерон, так что в качестве компромисса она переезжает к нему, а в разговорах о браке делает вид, будто ей не хватает словарного запаса японского языка.

За исключением часов на работе, они все время занимаются любовью. Вместе быстро приготовят какую-нибудь легкую еду и потом медленно занимаются любовью. Быстро уберут квартиру – и опять ненасытно наслаждаются друг другом. Он особо не обременяется порядком в своих вещах, но никогда не отказывается помочь в уборке, и она, кроме большой страсти, чувствует еще и бесконечную нежность к своему сладкому, послушному мальчику. Она настолько счастлива с ним, что пройдет немало времени, пока она осознает, что он не упоминает свою семью.

– Твои родители живы?

– Живы.

– Хорошо. А где живут?

– В Сайтаме, – говорит он и поворачивает ее на живот, чтобы целовать ей спину.

Она через плечо удивленно смотрит на него.

– Сайтама же меньше часа езды отсюда, и ты за эти несколько месяцев ни разу не ездил домой! Ты что – в плохих отношениях с родителями?

– Типа того, – он не прерывает ответственного занятия обцеловывания ее спины.

Он не видится с родителями, но мать иногда звонит ему по телефону. Его часть разговора звучит так:

– Ага... ага... ага... Понятно. Пока.

Они часто ходят в кинотеатр, а также пробуют кухни разных небольших питейных заведений. Она тоже охотно ест японскую еду. Обожает суши. Любит также и лапшу рамен, но втягивает ее тихо; когда пытается есть на японский манер, всякий раз суп залетает ей в дыхательное горло. К тому же ей каждый раз кажется, будто она нарушает правила хорошего тона за столом, – ведь ей с детства прививали понимание, что нельзя шумно поглощать пищу.

Поначалу он кажется ей прохладным, потому что не держит ее за руку, когда выходят из дома, но скоро она понимает, что он просто к такому не привык, поэтому она берет его руку. Скоро и он сам начинает естественно это делать. Она знает, что японцы не выражают эмоции так же открыто, как люди на Западе, и тем не менее ее не покидает ощущение излишней сдержанности.

Это место в фильме прокомментировал явно расстроенный один пожилой мужской голос:

– Нечего лапать друг друга на людях!

А за нами сидели две молодых девушки – не знаю, слышал ли ты их?

– Я б тоже хотела держаться с парнем за руку, но как-то... Правда ведь?..

Красивый сентябрьский день. Они гуляют, держась за руки. У обоих выходной. Та невыносимо влажная погода прошла, и, словно в награду за то, что героически выдержал пытки лета, Токио получил череду приятных дней.

Она время от времени глубоко вдыхает и с выражением абсолютного блаженства несколько секунд задерживает воздух в себе.

– Какой аромат!

Ветер волнами приносит запах мелких цветов с дерева кинмокусей⁴.

– Вот если бы был такой парфюм.

Он хохочет:

– В этой стране никто бы его не покупал. Кинмокусей именно из-за аромата издревле садили рядом с сортирами, так что у большинства японцев этот запах ассоциируется с туалетом.

Теперь она хохочет:

⁴ Кинмокусей – османтус душистый, вечнозеленое субтропическое дерево, достигающее полутора-двух метров (*прим. авт.*).

– Ну, вы, японцы, даете! Такая прелесть у вас ассоциируется с туалетом, тогда как лопаете кусайа⁵, которая пахнет трупом.

Таким способом она постепенно осваивает Японию. Он так же знакомится с Сербией. У нее есть подруга, которая работает в посольстве Сербии, и они часто посещают разные собрания. Он пробует сербскую кухню. Сербский кинематограф восхищает его специфической энергией и юмором; как только новое сербское кино приходит, они его смотрят среди первых. Правда, он избегает истории о войне и другие тягостные темы. После одного фильма, оставившего горькое послевкусие, он ей говорит:

– Слышь, давай выбирать более веселые фильмы.

– Это ж тоже сербская реальность, – отвечает она.

– Да я понимаю, но... два часа ненависти и убийств, как-то...

И не только убийства: гораздо менее неприятные явления из обиденной жизни он тоже старается избегать – это она скоро поймет. Она все более интенсивно изучает японский язык, все больше времени проводит за книгой или перед компьютером, а он тем временем смотрит телевизор. Чтобы не мешать ей, он уходит в другую комнату. Она когда делает перерыв или просто соскучится по нему, варит кофе и несет ему. Уже у двери комнаты слышен хохот из телевизора. И днем, и ночью, и в будний, и в выходной день кто-то поглощает какую-нибудь еду, а кто-то ухаживается. Со временем она тоже запоминает большинство юмористов, и среди них есть и те, которых она находит очень забавными, но с какой бы симпатией ни относилась к этой нелегкой профессии, не может не признаться, что некоторым попросту чуждо понятие хорошего вкуса. Он же с ней соглашается – но телевизор не выключает.

Когда начинается какая-нибудь серьезная передача, он берется за пульт и переключает канал. Однажды когда она собралась посмотреть заинтересовавшую ее программу, они впервые ссорятся. Правда, слово «ссора» не совсем уместно: когда у них расходятся мнения, он замолкает и выходит из комнаты.

Поводом для размолвки послужила американская военная база на Окинаве. Что ни день – происшествие: рухнуло уже несколько конвертопланов оспрей, вертолеты то и дело совершают вынужденную посадку либо теряют запчасти в полете. В передаче, которую она начала смотреть, матери детей из садика, на который упала деталь вертолета, собрали сто тысяч подписей под петицией о запрете полетов над садиком; матери съездили в Токио и передали петицию Министерству обороны. Ей хочется узнать, есть ли в данной истории продолжение или какой-либо ощутимый результат, а ему становится скучно – вот он берет пульт управления.

– Подожди, я хочу досмотреть передачу, – говорит она.

«Пустая трата времени», – бормочет он про себя. Она скрещивает руки на груди и строго обращается к нему:

– Насколько я знаю, это серьезная проблема, но все ведут себя в духе «моя хата с краю», будто одни окинавцы должны ее решать.

– Да, верно, это большая проблема, но с ней не справляются десятилетиями, даже те, чья работа именно справляться с такими проблемами. Так что смотри не смотри, думай не думай, а нам с тобой проблему военных баз не решить – вот что я имел в виду, когда сказал, что это трата времени, – говорит он и покидает зал. С тех пор, когда у них не совпадают мнения, он либо выходит из комнаты, либо замыкается в себе.

Ты шутливо прошептал возле моего уха:

– Ах, как тебе не повезло! Ты уж прости... Будь я типичным японцем, последнее слово всегда было бы за тобой, а так...

⁵ Кусайа – вяленая рыба чрезвычайно неприятного запаха (прим. авт.).

Да, милый, ты действительно охочий до дискуссий. Ради ментальной гимнастики ты можешь часами приводить доводы «за» и «против». А немного подбодренный спиртным, становишься еще более дотошным и разговорчивым. Вот это правда: в тебе мало от типичного японца.

Она начинает следить за тем, как бы не ранить его. У него нет мнения насчет проблем, у которых нет однозначного ответа — ну и что? Некоторые любят разглагольствовать, другие — нет. Впрочем, не могут все заниматься вопросами глобализации, таяния ледников и национализма. Требуя мнение человека, которому эти темы не интересны, только испортишь отношение с ним и внушишь ему комплекс неполноценности. И хотя она это отлично понимает, бывают моменты, когда не может справиться со своей горячей балканской кровью. Однажды он не отступает: сначала в развернутом виде излагает свою позицию, затем озвучивает все «за» и «против», которые мог бы услышать от нее, в конце делает вывод и говорит:

— Ты довольна? Как по-твоему — мы спасли планету? И вообще, вы, сербы, которых хлебом не корми, дай подискутировать, что — решили все проблемы в своей стране?

Ты вновь прошептал мне:

— Ну и ну. А я не знал, что ты способна на такую самокритику!
Я показала тебе язык.

Год спустя они, хорошо узнав друг друга во время испытательного срока, регистрируют свои отношения. Ее семья настаивает на свадьбе в Сербии, так что в Токио они ограничиваются загсом.

— Скоро твой день рождения — хочешь в этот день подадим заявление в загс?

Она смотрит в календарь.

— Идея мне нравится, но это ж будний день — я работаю.

— Ну и что? Я один отнесу заявление.

Она выпучивает глаза.

— Ты слышишь себя?! Для брака нужны двое!

— Все в порядке. Я отнесу бумагу, которую мы оба подпишем и станем парой в законном браке. Давай так сделаем! Ты же знаешь, что я плохо запоминаю даты — каждый год буду забывать либо твой день рождения, либо годовщину брака. А вы, женщины, таких вещей ведь не прощаете.

В итоге так и делают: пока она на работе, он, у которого этот день выходной, относит заявление в загс, и они официально становятся мужем и женой. Вечером начинается череда телефонных звонков из Сербии, всех интересует, как она отметила день рождения.

— Я работала, затем по пути домой зашла в супермаркет за покупками; вечером мы вдвоем готовили ужин, вот только что помыли посуду. А, да! Кстати, мы поженились.

А это реакции из трубок в десяти тысячах километров от Японии:

— ЧТО-О-О?!

— Ты сейчас что сказала?!

— Когда? Как?!

После того как они узаконили связь, она настаивает хотя бы на одной встрече с его родителями: необязательно поддерживать близкие отношения, но родителям нужно сообщить — и не по телефону, — что они теперь супружеская пара. Он вздыхает: да, она права, но...

— Сделай, пожалуйста, одолжение и скажи, отчего у тебя такая трагическая мина? Девушке еще можно и не говорить, но теперь я тебе жена, супруга, понимаешь? Я должна знать, в чем дело.

— ...Если вкратце, то я не выполнил ожиданий родителей. Они — врачи, у них в Сайтаме своя небольшая клиника, которую я, по идее, должен был унаследовать и продолжить их дело. А у меня нет ни способностей, ни интереса к медицине. Я провалился на вступительных экзаменах один раз и больше даже не пытался. С точки зрения моих родителей, и особенно матери, сына, который получил образование на факультете физической культуры и работает тренером по фитнесу, не назовешь удачным потомком.

Его родители не такие уж холодные, как он описывал их, но даже она должна признаться, что их дом не то место, где хочется задерживаться. Однако она довольна: этим визитом она показала, что знает приличия. После него начинается череда дней, заполненных гармонией. Кроме работы, она старается читать на японском языке и даже немного пишет. Японский язык, который она изучала в Белградском университете, ригидно правильный; она не может освободиться от привычки использовать вежливые формы речи даже в разговоре с ним, и он постоянно подшучивает над ней. Она свой японский язык адаптирует под реальную Японию и всеми органами чувств впитывает страну так, как это было невозможно в Сербии. В качестве пробы пера пишет свои «Записки у изголовья»⁶. Освобождается от устоявшихся взглядов на возвышенное и обыденное и плюет на грамматику, так же как и старая добрая Сэй-Сенагон:

Весною — нет, не рассвет⁷, а волчегодник. Он дает знать о себе дурманящим запахом. Словно говорит: «За зиму я так натерпелся!» А когда весна становится полноправной хозяйкой, азалия рассыпает свои белые и розовые цветы. Она восхитительна контрастом броских цветов и утонченного, еле уловимого аромата.

Летом — горячий и влажный запах циновки *татами*. Он успокаивает нервы, взбудораженные испуганной любовной песней уродливых цикад.

Осенью — кругом оранжевый цвет. Мелкие цветы кинмокусей, чей запах у всех ассоциируется с уборной; затем хурма. Оранжевый цвет к лицу темноволосым японцам. Но, увы, никак не идет блондинам. Стильная майка знаменитого бренда, подаренная зятю-блондину, годами лежит на дне шкафа в Белграде.

...И так далее в таком стиле она пишет у себя в блоге. Поначалу читают только друзья. Затем и друзья друзей. Потом начинают появляться комментарии незнакомых читателей. А в один прекрасный день ей пишут из издательства. Она идет на встречу с редактором. Молодой, искренне заинтересованный человек. Говорит, что собираются выпустить книгу эссе иностранцев, живущих в Японии. Она понимает, что для них она пока лишь необыкновенный зверь, что-то типа панды в зоопарке. Муж говорит: «Неплохо для начала», радуется за нее и поддерживает. Она сразу берется за дело, пишет несколько новых текстов и отправляет редактору.

— Отлично! Продолжайте в таком же духе. Мы местами подправим японский язык.

— Конечно. Я же не думаю, что знаю японский, как японцы.

И она продолжает писать. Редактор все внимательно читает, комментирует.

— Так как вы еще и фотограф, подберите подходящие к текстам снимки, — говорит он ей, и она уже явственно видит свою первую книгу, так же как видит, что заинтересованность редактора — искренняя. «В приличной стране все идет по плану, не то что кое-где...»

С приятным трепетом в душе она выбирает фотографии, пока тот молодой человек редактирует ее тексты... он редактирует... и редактирует... похоже, что править там больше, чем она думала... он это, видимо, делает очень тщательно... проходят два месяца, проходят три месяца. В общении с японцами она все еще на уровне детского сада, поэтому спрашивает своего самого близкого японца, продолжать ли ждать или написать самой?

⁶ «Записки у изголовья» — знаменитый сборник эссе, зарисовок, новелл и стихов придворной дамы Сэй-Сенагон, начало XI века (*прим. авт.*).

⁷ «Весною — рассвет» — знаменитое начало «Записок у изголовья» (*прим. авт.*).

– Напиши ему по электронке.

И она внимательно сочиняет вежливое до невозможности письмо. Хотя она ни в чем не виновата, просит прощения – потому, что это так по-японски. Хотя она сама отнюдь не валяется на диване, выражает понимание его архизанятости – потому, что это так по-японски. В конце, опять же с тысячей извинений и обиняков – а вот это уже самое изысканное фирменное блюдо японцев! – она просит его написать ей, как далеко продвинулась редактора и стоит ли ей надеяться...

Нет, нет – все-таки ее впечатление об этом молодом человеке было правильным: хорош, искренен. Он просит прощения, он так перед ней виноват, ее тексты замечательны, но он завален другой работой, так что просит дать ему еще немного времени.

У нее есть любимый муж, и любимая работа, и совершенствование любимого японского языка, и любимая фотография, и любимое писательство... у нее так много того, чем она охотно и самозабвенно занимается, так много, что оно еле помещается в двадцать четыре часа. Короче говоря: она ждет и не сомневается. Потому что ей сказали «подождите немножко». Ей ведь это сказал японец, а японцы ведь, как всем известно (а кому еще неизвестно, пусть срочно запоминает!), дорожат словом больше, чем миллионом страниц договора.

Проходит еще полгода. Она понимает, что книги не будет, и все, чему надеется от редактора, это письменное «жаль, не получилось». По-японски вежливо она пишет ему по-западному конкретное требование:

– Если не получается, скажите мне «не получается».

– Что вы?! Какое «не получается»?! Просто я завален работой и не успеваю...

В «Трудностях перевода» Софии Копполы есть некоторые комические моменты. Наша героиня, с другой стороны, в своих «Трудностях коммуникации» не находит ничего смешного. Ее муж коротко подытоживает издательское приключение:

– Забудь.

Вот и все. Для него этот эпизод завершен. А у нее произошло что-то гораздо более трагичное, чем непечатание книги: человек обманул ее доверие.

– Похоже, я приукрашивала Японию. В последнее время я это осознаю и уже распрощалась с некоторыми иллюзиями, но доверие! Понимаешь ли ты, что доверие – визитная карточка японцев?! В отличие от других народов, где не на кого положить, у вас же были самураи. Они скорее вспарывали себе животы, чем предавали человека. Что-то от этого духа осталось в нации... Должно же было остаться!

Он пытается успокоить ее гнев и уныние (гремучая смесь! забыли наклеить этикетку «не смешивать!»), но происходит то, чего, в общем, можно было ожидать: она взрывается.

– Вот сволочь, тварь, дрянь! Думал небось: да иностранка, че я с ней буду объясняться. Могу биться об заклад, что не повел бы себя так, будь на моем месте японец.

Муж продолжает успокаивать ее:

– Я уверен, что дело не в том, что ты не японка. Скорее всего, у этого человека возникли проблемы, с тобой не связанные. А потом, когда он понял, что не может сдержать обещания, он растерялся, не знал, как сообщить тебе об этом...

– Не знал, как мне сообщить – еще чего! С деликатными обиняками все можно сообщить. Во всем мире нет языка, который позволяет так элегантно отказать человеку, как японский язык. И я сама, в конце концов, не раз давала ему возможность открыто и без последствий для него сказать мне, что не получается.

Он вздыхает, бормочет: «Пока этот бедняга не вспорет себе живот, не дождется прощения...» – и делает звук телевизора громче. Как всегда. Он не хочет дискутировать о том, что не зависит от него. Даже думать о таком деле для него – пустая трата времени. Она тоже, в принципе, так думает. Однако пока она не может освободиться от наваждения насильственно законченных событий, он все полностью забыл и от души смеется шуткам комиков. Она смотрит на него и думает: «Господи, с кем я живу?!» Две руки-две ноги, глаза-нос-уши на том же месте и язык, который

оба понимают, делают из них создания одного вида, но когда она пытается заглянуть в него — так же как и в того редактора, который такой же японец и такой же мужчина, — ее навигационная система перестает ориентироваться в пространстве.

Какое-то время фотография и занятие литературой кажутся ей бесплодными занятиями, а на людей в стране, в которой она решила постоянно поселиться, смотрит как на лицемеров, говорящих «белое», когда думают «черное». Она погружается в мнительность и мизантропию.

Оттуда ее вытаскивает муж: он покупает ей новый фотоаппарат и вдохновляет начать фотографировать по-новому, частенько выводит ее на природу и в люди, заставляет ее писать и исправляет ее ошибки в японском языке. Когда понимает, что она уже уверенно держится на ногах, он незаметно отступает.

— Жаль... Люди о нас хорошо думают, и потом кто-то возьмет и все испортит... — прокомментировала одна женщина в возрасте, сидевшая по диагонали за нами.

Последовала реакция мужчины того же возраста:

— Не все японцы одинаковые...

С того места началась ускоренная перемотка. Они вдвоем утром пьют кофе, смотрят телевизор, выходят из квартиры. Вечером вместе едят, затем он усаживается перед телевизором, а она включает компьютер. На улице цветет сакура; зритель только подумал: «Глубока зелень лета», а парк уже пламенеет цветами осени. В один момент она в одежде свободного покроя, а уже в следующий она ходит враскачку, в пальто, которое не застегивается. Я ощутила твой взгляд. Безмолвно ты спросил меня: «Зачем тебе это? Только вскроешь зажившую рану». Я вернула взгляд на полотно. Там ускоренно менялись будничные сцены из жизни семьи с маленьким ребенком.

Если я не могу родить его, могу его *написать*. Позволь мне хотя бы в романе осуществить эту мечту.

Первый выкидыш случился у меня почти одновременно с выходом первого романа. Ты об этом не знаешь. Правда, моя писательская карьера тоже началась *выкидышем* благодаря тому редактору.

Заметив, что ты не реагируешь на намеки о детях, я сказала тебе прямым текстом: «Мы могли бы скоро ребенка завести».

— А мне пока хорошо с тобой вдвоем. Зачем нам спешить? — ты обнимал меня, щекотал, в общем, делал все, чтобы прекратить дальнейшее развитие темы. И я в какой-то степени могла тебя понять: тебе было двадцать с хвостиком, хотелось наслаждаться жизнью. Как только появляются дети — *до свидания, удовольствия!* Обязанности, обязанности, одни обязанности, а жизнью вновь можно наслаждаться тогда, когда для наслаждения нет больше сил. Поэтому я не настаивала.

За две недели до выхода книги я поняла, что забеременела. Испытала я тогда интенсивно противоречивые чувства: с одной стороны, меня это обрадовало, а с другой — застало врасплох, ведь я понимала, что ты все еще не готов. Но *она* само от себя ушло, через несколько дней после того, как мой роман появился в книжных магазинах. Чуть более сильное кровотечение, чем обычно, — вот и все. Поэтому, на фоне возбуждения из-за долгожданного выхода «настоящей» книги та неудачная беременность не показалась мне трагедией и я тебе даже не сообщила.

Когда сороковой день рождения показался на горизонте, как берег, которого недавно совсем не было видно, я забеременела во второй раз. Боже, как я была счастлива! У меня был любимый муж, все в семье были живы-здоровы, у меня вышли две книги — наконец-то встретился издатель, который умел по-человечески общаться, — а теперь и ребенок будет. Мне казалось, что грудная клетка у меня разорвется от счастья! Я еле сдерживала себя, чтобы не бежать на обратном пути из клиники — хотелось

как можно скорее показать тебе снимок УЗИ. На этот снимок, больше всего напоминающий тест Роршаха в разных нюансах серого цвета, ты смотрел несколько секунд — конечно, ты ничего не понимал, как не понимает никто, кроме медицинских работников, — и произнес лишь одно неопределенное «о-о...». Но твоя реакция меня не расстроила. Я была счастлива за нас обоих. Да нет — за двоих, троих... да за десятерых я была счастлива! Во время ультразвукового обследования, правда, не было обнаружено сердцебиение плода, но это было, скорее всего, потому, что я пришла на осмотр на совсем раннем сроке. Врач сказал мне прийти опять через неделю. На следующей неделе вновь не удалось зафиксировать сердцебиение, и врач на этот раз выглядел немного озабоченно, но утешал меня, мол, все еще может наладиться.

В тот день я медленно направилась домой. Мне казалось, будто цикады орут шумнее, истеричнее, отчаяннее, чем обычно. Водитель машины, находящейся поблизости со мной, нажал на клаксон. Это было словно ножом по барабанным перепонкам; я машинально зажала уши руками. Шарканье ботинок по асфальту вызывало мурашки по всему телу. Люди вокруг, казалось, глуховаты, поэтому так орут в мобильные телефоны. Все это было слишком для моего слуха; мне хотелось убежать от сюрреального шума города и мертвой тишины моей матки. В нескольких шагах от нашей квартиры, пока вынимала ключ из сумки, у входной двери соседей я заметила мертвую цикаду. Большая, почти в десять сантиметров, с крыльями, от которых, если наступить на нее, должен был исходить хруст, цвета земли и уродливая, как большинство насекомых, она лежала на спине. Конец лета, заканчивается период выведения потомства — они тогда массово умирают.

В следующий вечер, возвращаясь домой, я опять увидела ее: в месте, плохо освещенном лампой в коридоре, она лежала все такая же мертвая, под тем же углом по отношению к двери. И на другой день, и на третий, каждый раз, когда я проходила, мои глаза машинально ощупывали ту пядь бетона перед входной дверью соседа, а хрустящие земные останки цикады все так же были на месте. Она больше, чем при жизни, преодолевала открывание двери и веник дворника.

Прошла еще неделя. Я опять сходила к врачу.

«Жаль...»

Я надеялась услышать от тебя: «Не грусти, все будет в порядке. сделаем другого», но ты сказал: «Не грусти. нам и так хорошо, правда ведь? Давай улыбнись». Я весь день держалась мужественно, не позволяя себе ни одной слезы, но при этих твоих словах я разрыдалась. Ты — на свой лад, так, как умеешь, — попытался утешить меня:

— Ты знаешь... я, скорее всего, не способен быть отцом кому бы то ни было. Как раз наоборот: я уверен, что испортил бы жизнь тому ребенку. Я это серьезно. Так же как мои родители пытались из меня сделать сына по собственным меркам, я бы тоже постоянно придирался к своему ребенку: «Ты должен!», «Не смей!» и тому подобное. Я ненавижу это у своих родителей, но я бы — могу биться об заклад — и сам так делал. Все, у кого есть дети, признаются в том, что повторяют ошибки своих родителей.

Я не отвечала, и ты продолжил:

— Я глубоко убежден, что ребенок — самое несчастное создание в мире. Дома ему запрещают делать то, что он любит делать, и заставляют делать как раз то, что ему меньше всего хочется; в школе учителя его ругают, а сверстники делают ему всякие пакости и смеются над ним, по поводу и без повода... Если бы мне предоставили возможность еще раз родиться, я отказался бы. Ни за что на свете не хотел бы вновь пройти через детство. Давай не будем портить жизнь одному маленькому, гипотетическому человеку.

Я подумала, что Бродский, написав где-то, что детство является школой беззащитности и отвращения к самому себе, поддержал бы тебя. И захотелось, ради ин-

тереса, узнать, написал ли он это до того, как у него родилась дочь, или потом? Хотя от этого мне ни жарко ни холодно; ты не жаждал иметь детей, и мы больше об этом не разговаривали.

Мы больше об этом не разговаривали, но это не значит, что я забыла или что время меня вылечило. Как тот труп цикады, мое несбывшееся материнство лежит у *дороги*, по которой проходят мои мысли и чувства. Мертвое, но присутствующее. Этот роман — во многом — история о нас с тобой: как я могу не упомянуть его?

Кинолента с режима ускоренного перематывания временами замедлялась до обычной скорости, и мы видели *нашего*, несуществующего, сына в первые дни детского сада. *Перематывание*. Торжество последнего дня в садике. *Перематывание*. Первый день в школе. *Перематывание*. Торжество по поводу окончания начальной школы. Все эти сцены сняты на восьмимиллиметровую пленку, изображение сопровождается тихий рокот проектора, краски смыты. Потом к фильму возвращаются цвет, звук и привычная скорость.

Она готовит завтрак; сын заходит на кухню, бормочет «брэутро», вынимает молоко из холодильника. Наливает себе полстакана и пьет мелкими глотками.

— Мне не надо завтрака, — говорит.

Она озабоченно смотрит на сына. Слишком свободная пижама подчеркивает худобу юноши. Под глазами — темные круги. Она мягко делает ему замечание: «Нельзя пропускать завтрак», а он говорит: «Я не голоден». Она таким ответом недовольна, но он не младенец, чтобы ему запихивать еду в рот, — ему восемнадцать, и он на голову выше матери.

— До сколько занимался?

— До трех.

Она вздыхает. Жалуетса мужу, который тем временем выходит из ванны:

— Этот ребенок не ест и не спит.

Муж не разделяет ее волнения:

— Уже большой, по идее, должен уметь заботиться о себе. А если о себе заботится плохо и поэтому провалится на экзаменах, сам виноват.

Она снова вздыхает. До вступительных экзаменов осталось две недели. Он исхудал до предела, но нельзя сказать, что занимается до седьмого пота. В последнее время, когда возвращается с работы, она застаёт его в гостиной за компьютерными играми.

Вечер. Он вернулся после уроков с репетитором, мать накрывает для него стол и садится с ним. Он пользуется вилкой и ножом, но больше передвигает еду с одной части тарелки на другую, чем ест.

— Ты спросил у учителя то, о чем прошлый раз сказал, что не понимаешь?

— ...Ага.

Она хорошо знает его: он стесняется отнимать у людей время и привлекать внимание к себе. Скорее всего, не спросил.

— Никому нет никакой пользы от твоего стеснения. Лучше досаждать вопросами, чем провалиться на экзамене. Тогда это просто выброшенные деньги.

— Я знаю! — парень повышает тон.

Весь подростковый период с ним не было проблем, поэтому такая его реакция серьезно тревожит ее. Чтобы не давить на него своим присутствием, она переходит в гостиную к мужу.

Перед сном она на кухне наливает себе воды. Посуда, которой пользовался сын, помыта, но ужин, почти полностью, на дне мусорного бака. Она варит какао для него и несет в его комнату. Перед тем как открыть дверь, она тихо стучит. Застаёт его смотрящим что-то на смартфоне.

– Занимаешься?

– Ага, сейчас делаю перерыв.

Она ставит какао на стол и выходит, обводя глазами комнату. Ни одной открытой тетради или учебника.

Опять утро, опять завтрак. Сын заходит на кухню, бормочет «брэутро», вынимает молоко из холодильника.

– До сколько занимался?

– До полтретьего.

Она ногтями стучит по кружке, покусывает себе внутреннюю часть щеки, очевидно пытаясь совладать с собой, и говорит:

– Очень плохо, что не спишь, даже если ты интенсивно занимаешься. А тем более что в последнее время занимаешься одними играми. Ну что ж... кто-то и мусорщиком должен работать. Не пойми меня неправильно – я же тебя не заставляю учиться, только говорю, что испортишь себе здоровье, если не будешь спать.

Он возвращает молоко обратно в холодильник и уходит в свою комнату. Несколько минут спустя слышен звук дверцы обувного шкафа; она сожалеет о своих словах и направляется в прихожую, чтобы хоть проводить его по-матерински, но в коридоре сталкивается с ним. Прикрывая рот рукой, он бежит в ванную, откуда слышно, как его рвет.

Во время этой сцены я почувствовала твой взгляд на себе. Немой вопрос. Ты знаешь, как я способна понавыдумывать всякой, не связанной с нашей реальной жизнью, всячины, но здесь ты немножко занервничал и хотел знать раньше других зрителей: куда это ведет и что я этим хочу сказать?

Мальчик в это утро даже молока не попил, и его вырвало одним желудочным сокком. Затем, дрожа, он ополаскивает рот и горло. Она не находит себе места.

– А хочешь, я позвоню в школу? Оставайся дома сегодня.

– Не надо, – говорит он и идет к прихожей.

Муж видит, как она переживает, и говорит ей:

– Что ты раскудахталась-то? Он не маленький, пусть сам справляется. Как обычно, ты его слишком оберегаешь.

Она стоит растерянная: муж считает ее слишком мягкой, сын – слишком жесткой.

Отправив мужа на работу, она варит себе еще чашку кофе и тупо смотрит в выключенный телевизор. На черном экране проступает изображение, которое видно ей одной. Она вспоминает, как его мать позвонила и сказала, что отцу стало плохо и он находится в больнице. Они вместе с грудным ребенком на руках идут навестить отца. С тех пор как родился внук, родители часто приезжают в Токио и зовут их к себе в Сайтаму – их отношения с сыном стали гораздо теплее, чем прежде. Инфаркт отца оказался не угрожающим жизни, но это сигнал, что доктор больше не молод и должен меньше работать.

На выходе из больницы двое мужчин зовут ее мужа по имени. Она не может понять – он их не заметил до того, как они его позвали, или делает вид, что не заметил их, – но она улавливает, как он напрягся. Она видит, как он монтирует улыбку, затем выдавливает одно «о-о-о!», не обращаясь по имени ни к одному, ни к другому.

– Что ты здесь делаешь? – спрашивают они его.

– Отец угодил в больницу с инфарктом. А вы здесь?..

– Правильно, – говорит один из них и поднимает воротник белого халата, – проходим практику. А ты? Кто-то сказал, что ты в Токио. Чем занимаешься?

Если бы все это происходило несколькими годами раньше, она бы чувствовала себя отодвинутой на второй план, но теперь она лишь снисходительно думает: «Знаменитая неуклюжесть японских мужчин». Хотя очевидно, что она с ним, эти двое к ней не обращаются, и он ее не знакомит с ними.

Он сухо покашливает.

ально ранила тебя. Я люблю тебя, но меня это не остановило укусьить тебя. Любовь – сложное, противоречивое явление, у которого много разных красивых лиц, а изнанка – уродливая.

Есть еще одна причина, почему я использовала тот эпизод, зная, что тебе будет больно: холодный расчет на прием у читателей и критиков. Мы живем, дорогой мой, в мире, который по-прежнему вертится вокруг мужчин. Все, что делаете вы – лучше и значительнее, а ваши терзания – более глубокие и важные, чем наши. Женские слезы мало кого растрогают. Вот почему мне нужна была сцена твоего унижения, твоего страдания. *Вот так, коллега Пильняк, создаются рассказы.*

Изображение на полотне остановилось. Он и она, оба с волосами с проседью, держатся за руки и смотрят в камеру, точно оттуда кто-то позвал их. Свыше спустилась сначала жирная надпись «**Чужой в доме**», а потом и обычное «Конец». В зале зажгли свет, и публика потекла к выходу. Ты все еще избегал моего взгляда. Пока мы медленно двигались по узкому проходу, невольно приходилось слушать комментарии публики.

– Межнациональный брак все-таки сложное дело. У меня такое впечатление. Думаю, что я не могла бы...

– Разные нации тут ни при чем – у меня дома такой же, как и я, японец, и все же я каждый день думаю: «Господи, что творится в голове у этого человека?»

Третий голос выразил согласие:

– Вот именно...

– А мне жаль их сына. Это и в других странах детей заставляют поступать в университет во что бы то ни стало, или та мамаша стала самой *правоверной* японкой?

– Что вы этим хотите сказать? Что плохого в высшем образовании? Когда у него потом будет возможность выбирать работу, он поблагодарит родителей.

Никто не упомянул эпизод с практикантами в больнице, и я думала, что ты скоро оттаешь. Конечно, я понимала, что тебе от мнений других людей ни жарко ни холодно и что это я ранила тебя, я одна. Шагая перед тобой, я протянула руку назад, ожидая, что ты переплетишь пальцы с моими. Обычно, в какую бы толпу мы ни попадали, наши руки безошибочно находили друг друга. А на этот раз – не нашли...

Когда мы вышли на улицу, я воскликнула, изо всех сил стараясь звучать весело:

– А теперь – хавать!

Ты, не вынимая рук из карманов и не глядя на меня, сказал:

– Я не голоден. Да и время нашей брони давно истекло. Пошли домой.